

нок свиданий, логика потребления и гибкие связи становятся частью эмоциональной реальности, а культура любви приобретает «экономизированный» характер. Различны и позиции исследовательниц: если Свидлер лишь показывает, как люди действуют в данных культурных условиях, и не выступает с критикой капитализма или потребительской логики, то Иллуз фиксирует негативные последствия трансформации отношений: одиночество, нестабильность, коммерциализацию чувств.

Чтобы критиковать влияние потребительского капитализма на романтические отношения, необходимо прежде всего допустить его существование, то есть допустить, что существует определенная культурная логика потребительского капитализма, сводимая к набору относительно непротиворечивых установок, которые способны регулировать различные стороны жизни людей. Свидлер возражает: даже если такая культурная логика существует, она едва ли может быть исключительно негативной и однонаправленной. Впрочем, и в идее культуры как набора инструментов можно усмотреть скрытый критический потенциал. Однако Свидлер не пишет о лицемерии или моральном релятивизме; она лишь показывает, как люди «используют» культуру, — тогда как Иллуз стремится понять, как культура «использует» людей. Эти две концепции очерчивают границы современного социологического дискурса о любви, задавая противоположные, хотя и не исключающие друг друга, оптики анализа.

Карина Левитина

Еще раз про любовь и другие психические страдания

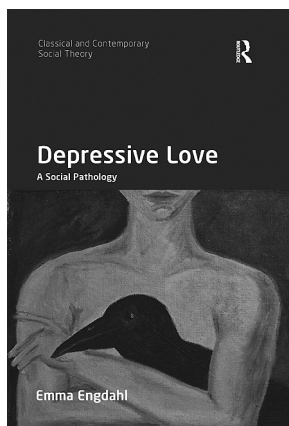
DOI: 10.53953/08696365_2026_197_7_318

Engdahl E. Depressive Love: A Social Pathology.

London; New York: Routledge, 2018. — VI, 122 p. —
(Classical and Contemporary Social Theory).

За последние десятилетия вышел ряд книг о кризисе романтической любви, что можно рассматривать как ответ на оптимизм Энтони Гидденса с его идеей «чистых отношений». Гидденс утверждал, что в позднем модерне интимность освобождается от традиционных ограничений и переходит в пространство равноправия и рефлексивного диалога¹. Однако уже к началу XXI в. обнаружилась несостоятельность этого идеала: цифровизация, рыночная рациональность и новые формы неравенства сделали интимность зоной скорее уязвимости, чем свободы. Именно к этой интеллектуальной линии — от Зигмунта Баумана до Евы Иллуз и Лизы Уэйд — относится и книга Эммы Энгдаль «Депрессивная любовь: социальная патология».

1 См.: *Giddens A. The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies.* Cambridge: Polity, 1992.



Центральный тезис Энгдаль состоит в следующем: основными категориями субъектности в современном эмоциональном сценарии (*script*) западной культуры являются любовь и депрессия. Любовь утратила свою взаимную, межличностную природу и стала вызывать истощение, тревогу и ощущение недостаточности — это явление автор и называет депрессивной любовью. Это состояние, в котором стремление к близости сочетается с чувством одиночества и собственной неадекватности, является, по мысли Энгдаль, не просто индивидуальным переживанием, а симптомом более широкой «социальной патологии»: культурный идеал любви, построенный на intersубъективности, возможности выйти из экзистенциального одиночества и встретиться с Другим посредством языка и путем признания, испорчен логикой позднего капитализма, превращающей любовь в товар.

Внимание все больше направляется не на Другого, а на самопрезентацию, социальный статус и способность соответствовать общественным ожиданиям. Ситуацию усугубляют цифровые технологии: приложение для знакомств на экране гаджета создает замкнутое пространство, в котором человек остается наедине с собой и одновременно ищет внимания и признания. Более того, при повсеместной доступности таких приложений люди стали реже заниматься сексом, а если он и происходит, то часто становится эмоционально пустым, направленным не на установление интимной близости, а на демонстрацию статуса и подтверждение социального «успеха»².

Исследование Энгдаль выполнено на пересечении социологии и истории эмоций, психоанализа и философии; автор сочетает теоретический анализ с внимательным изучением «человеческих документов» (с. 9), то есть писем, повседневных разговоров о любви и т.д., называя этот метод «полифоническим» (там же). Примерно половину книги занимают фрагменты диалогов, позволяющие проследить, как частные эмоциональные переживания одновременно отражают и воспроизводят социальные нормы и идеалы, делая личное социальным, а социальное — эмоционально ощутимым. С методологической точки зрения важно отметить, что речь идет не об интервью, от проведения которых автор отказалась во избежание «искусственных ситуаций» (с. 10), а о диалогах, в которых она участвовала как обычный собеседник. Далее, наряду с «человеческими документами» Энгдаль использовала самонаблюдение, что сделало ее труд отчасти автоэтнографическим: отправной точкой для разработки концепции депрессивной любви стал личный опыт — распад почти двадцатилетнего брака (с. 35). Опираясь на весь этот материал, Энгдаль показывает, как индивидуальное переживание любви и утраты оказывается структурировано культурными сценариями. Личный опыт становится способом продемонстрировать, что «депрессивная любовь» не психологическая аномалия и не частная неудача, а закономерный продукт социальных условий, в которых формируются эмоции.

Впрочем, всякий метод накладывает свои ограничения. Основная часть свидетельств, проанализированных Энгдаль, принадлежит ее знакомым — представителям шведского среднего класса. Это образованные, рефлекслирующие люди, знакомые с психотерапевтическим языком и часто имеющие личный опыт психотерапии. Такую выборку нетрудно заподозрить в нерепрезентативности. Насколько справедливо экстраполировать феномен «депрессивной любви» на все западное общество?

2 См.: Wade L. American Hookup: The New Culture of Sex on Campus. New York: W.W. Norton & Co., 2017.

Первая часть книги посвящена любви как таковой, вторая — сближению ее с депрессией, третья — их гибриду в виде «депрессивной любви». Но и в первой части, казалось бы, самой «позитивной», уже затрагивается вопрос о взаимопроникновении любви и депрессии. Энгдаль начинает с указания на невозможность целостного определения «здоровой» любви; вслед за Роланом Бартом она понимает любовь как «акт утверждения» (с. 17–18), высказывание, которое держится на собственной силе и требует взаимности. Исследовательница полагает, что любовь существует прежде всего в языке как в пространстве интерсубъективности, где человек стремится, приблизившись к Другому, преодолеть экзистенциальное одиночество, на которое обречен по факту рождения. Любить — значит постоянно вести работу по взаимному пониманию и переводу. Но этот идеал подтачивается логикой рынка: коммерциализация чувств превращает любовь в объект потребления и навязывает техники самопрезентации, подменяющие подлинную борьбу за признание, в результате чего человек теряет способность обретать себя через Другого. Затем Энгдаль обращается к перечню диагностических критериев легкой депрессии, трактуя его культурологически: язык депрессии становится доминирующим способом описывать собственное состояние, а переживание личной недостаточности — ключевым параметром субъективности. Депрессивная любовь возникает тогда, когда идеал любви искажается социальными структурами и начинает разрушать желания, которые должен был удовлетворять.

Вторая часть посвящена тому, как смещение любви в депрессивную сферу закрепляют цифровые и терапевтические практики. Приложения для знакомств поощряют моментальное удовлетворение, эмоциональная вовлеченность начинает восприниматься как риск, и в результате отношения становятся легко заменяемыми, поверхностными и минимально обязывающими — именно об этом процессе писал Зигмунт Бауман в книге «Текущая любовь»³. А обратившись к терапевтическому дискурсу, Энгдаль ссылается на Еву Иллуз, писавшую, что демократизация психических страданий превратила депрессивность в социально одобряемый стиль чувствительности и сделала умение описывать уязвимость и внутренние травмы частью эмоционального капитала⁴. Эмпирическим материалом здесь служит переписка неких Клары и Энн: отношения Клары с мужчиной, избегавшим обязательств, иллюстрируют меланхолическую структуру любви, которую Энгдаль, вслед за Юлией Кристевой, описывает как неспособность оплакать потерю при помощи языка. Неспособность пережить горе вызывает колебания между самообвинением и агрессией и превращает любовь в «вещь-в-себе», оторванную от адресата.

В третьей части анализ переносится на уровень макросоциальных структур. Следуя за философом Бёном-Чхоль Ханом, автор пишет об «обществе достижения», в котором ценность человека определяется уровнем производительности. В такой среде любовь, всегда требующая больших временных затрат, оказывается «неэффективной». В этом контексте Энгдаль формулирует двухчастную структуру депрессивной любви, выделяя две формы редукции себя и Другого современным субъектом. Это, во-первых, «самозамалчивание» (*self-silencing*, с. 96), характерное прежде всего для женщин, которые скрывают свои потребности, чтобы быть принятыми со стороны конкретного мужчины или общества, и, во-вторых, «самокоммуникация» (*self-communication*, с. 99), то есть диалог с вымышленным, а не подлинным Другим через экран и цифровые интерфейсы, порождающий, по выражению Иллуз, «аутотелическое желание». Это две стороны одной медали: отсутствие доступа к подлинному Другому и бесконечный, бесплодный внутренний

3 Bauman Z. Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds. Cambridge: Polity, 2003.

4 См.: Illouz E. Why Love Hurts: A Sociological Explanation. Cambridge: Polity, 2012.

монолог. Иными словами, «депрессивная любовь» — это любовь, в которой утешаются и Другой, и ты сам.

Завершается же книга на удивление оптимистично. Опираясь опять-таки на Бёна-Чохль Хана, а также на Люка Болтански и Эв Кьяпелло, Энгдаль предлагает постепенный отказ от «позитивной потенции» (с. 105), то есть от навязанной поздним капитализмом установки всегда быть готовым — работать, самосовершенствоваться и быть сверхпродуктивным. Вместо этого она призывает вернуть себе «негативную потенцию» (с. 106) — право сказать «нет», сомневаться, признать собственную конечность и способность ошибаться, принять возможность тратить время «непродуктивно». Именно в этой «негативной» позиции, в паузе и несовершенстве открывается возможность для любви как диалога, для встречи, а не поверхностной имитации близости.

Однако концепция Энгдаль имеет ограничения, важные для восприятия ее выводов. Субъект ее исследования — классово привилегированный западный индивид, для которого любовь является пространством самореализации, а не экономической зависимости или борьбы за безопасность. Хотя автор обсуждает женские истории, гендерный анализ в них практически отсутствует. Как и историчность самой романтической любви (продукта XVIII–XIX вв.), этот аспект остается вне поля зрения, что делает выводы неуниверсальными. Кроме того, вызывает вопросы приравнивание депрессии к меланхолии, притом что в психоаналитической традиции — от Фрейда до Кристевой — эти термины могут существовать в комплексе, но не могут быть тождественны⁵. Фрейд трактовал меланхолию как патологический вариант проживания утраты, отклонение от нормальной работы скорби, доступной большинству людей⁶. Кристева сохраняет эту логику: меланхолия — не универсальный опыт, а особый режим переживания, обусловленный трудно объяснимой предрасположенностью, внутренней организацией личности, уходящей корнями в области ранних, первичных привязанностей. Большинство людей, согласно психоаналитической теории, способны оплакать потерю и интегрировать ее, не доходя до распада «я», аккумулируемого меланхолией. Остается неясным, почему у Энгдаль едва ли не каждый современный субъект — меланхолик, как будто структурное меньшинство стало нормой. Этот ход — экстраполяции меланхолии/депрессии на все современное общество — противоречит логике психоанализа, который все же различает патологию и норму и не объявляет патологический режим универсальным состоянием позднего модерна.

И все же с ключевым наблюдением Энгдаль можно, пожалуй, согласиться: современная интимность действительно смещается от интересубъективности в сторону замкнутости на себя. Описание «самозамалчивания» и «самокоммуникации» служит убедительным ответом Гидденсу, исходившему из предположения, что рефлексивное общение обеспечивает диалог и равноправие. Говорить еще не значит быть услышанным, формальная коммуникация может быть формой молчания, а «чистые отношения» — не пространством свободы, а зоной тотального самоконтроля, вызванного гендерным и социальным неравенством. Это критическое обнажение структуры современной интимности делает «Депрессивную любовь», несмотря на содержащиеся в ней спорные обобщения, важным исследованием в области культурных исследований эмоций.

5 Так, у Кристевой меланхолия и депрессия предстают в виде «депрессивно-меланхолического» комплекса с «нечеткими», но все же границами (Кристева Ю. Черное солнце: депрессия и меланхолия / Пер. с фр. Д.Ю. Кралечкина. М.: Когито-Центр, 2010. С. 15–17).

6 См.: Фрейд З. Скорбь и меланхолия / Пер. с нем. Р.Ф. Додельцева и А.М. Кесселя // Фрейд З. Художник и фантазирование: Сб. статей. М.: Республика, 1995. С. 252–259.